

РОССИЯ читала этого Актера... Дошлый помост возносил его не над толпой — он становился ступенью к истине, к постижению человеческой жизни с ее глухими тупиками, вечным российским «саморедством», милосердием и жестокостью, любовью и верой.

Вместе с чеховскими Астровым, Вершининым, Ибсеновским доктором Штокманом зал страдал и надеялся. Он же радостно и покорно позволял себя морочить чарующим легкомыслием русских водевилей, комедий Мольера, жизнерадостных забав Шекспира. Больше ста ролей — прожитых на сцене жизней!

«Это была стихия! Это было гениально!» — писали современники.

Этот Актер — Константин Сергеевич Станиславский.

Русская сцена знала энергичных и добросовестных организаторов театрального дела. Но никто из них не пытался создать произведение искусства — спектакль, где все подчинено единой творческой мысли режиссера.

Осенью 1885 года двадцатидвухлетний наследник знаменитой династии московских купцов Алексеевых оставил в своей «заветной тетради» запись о том, как бы он «оставил» роль Мефистофеля... Уже давала себя знать еще неясная, но настойчиво требовавшая воплощения потребность души.

Это начало первого во всей полноте этого слова режиссера русской сцены — Константина Сергеевича Станиславского.

Годы его жизни никогда не нанизывались неразличимой чередой. Каждый с детства нес радость познания огромного прекрасного мира, имя которому — искусство. Этот мир никогда не отпустит его от себя, хотя будущее, казалось, уже определено семейными традициями...

В семнадцать лет Константин Алексеев начал трудовую жизнь на фабрике отца. Работал с охотой, добросовестно, проявляя недюжинную деловую хватку.

Служба давала не только материальную независимость, средства для огромных культурных начинаний. Она снабдила будущего художника бесценным знанием действительности, умением разбираться в людях, обилием наблюдений, что — дай-те срок — выплеснется той подлинностью, «натурой», которой не почерпнуть ни из каких книг.

А в доме у Красных ворот, что и сейчас помнит молодого Станиславского — такой сценический псевдоним он себе взял, — царил театр. Здесь начинался творческий путь: первые роли в домашнем театре, на любительских сценах Москвы. Проходили годы, и столица уже числила молодого Станиславского среди талантов ярких и разноплановых, способных выдержать сравнение с корифеями Малого театра.

А между тем как нелегко ему, одаренному, казалось, всем, что может пожелать себе человек театра; давалось постижение актерского ремесла! Какому жесточайшему самоконтролю, ежедневному, кропотливому тренажу подвергал себя этот, по выражению Горького и по общему признанию, красавец человек! Он, чей не только драматический талант, а только голос, только пластика движений, манера говорить были столь особы, великолепны, что оставались в памяти людей на всю жизнь. Вечный труженик, ни в молодости, ни в старости не дававший себе ни малейшего послабления. Никаких надежд на «святое вдохновение» и «протекцию Аполлона».

Так повелось с юности. Вставал затемно. Учил тексты ролей. Потом — фабрика, производство, «дело». Репетиции на городских сценах. Дорога, три с лишним часа в один конец, в Любимовку, где собирались единомышленники по актерскому цеху, снова репетиции. До глубокой ночи сидел над заветной тетрадью, где уже выстраивались одна к другой скупые, деловитые записи и рисунки мизансцен.

Он готовил себя к главному делу своей жизни...

21 июня 1897 года состоялась «знаменательная встреча», как ее назвал Станиславский, с будущим сподвижником и другом на всю жизнь — Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко.

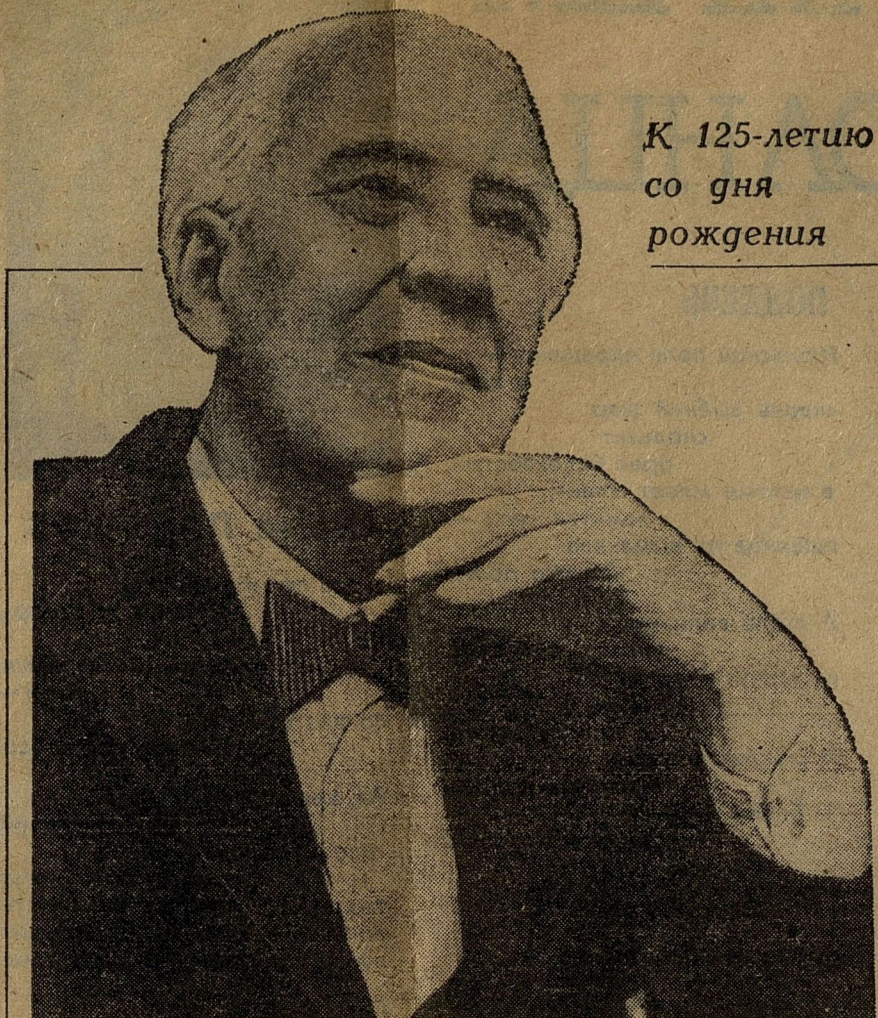
Это было начало Московского Художественного театра.

МХАТ! Гордость русской сцены. Кажется, он был всегда. И свет его фонарей озаряет не просто театральный подъезд, а путь в мир высоких страстей, умных и серьезных мыслей.

И шли мы вслед за «Синей птицей»...

И, как сестры Прозоровы, ловили щемящую душу звуки затихающего марша... И там со дня людского бытия поднималась к нам, будоражила, не давала покоя мысль о достоинстве и великом предназначении человека...

Спектакли Станиславского! В годы базарщины, реакции, жесточайшего гнета



К 125-летию
со дня
рождения

СТАНИСЛАВСКИЙ

царской цензуры они были несдавшимся бастионом передовой русской мысли, свободного духа и слова. Именно так их воспринимали современники Станиславского.

Это была революция и в театральном искусстве, переворот во всей актерской практике, где творческий процесс «переживания», а не «представления» становился непреложным законом. Для этого Станиславскому надо было создать новый тип актера, готового заставить зрителя увидеть в своем герое живого человека, способного проникнуться сознанием большой общественной значимости принятого на себя творческого дела.

То, что Станиславский обладал необыкновенной способностью увлекать за собой актера, подвигать его на творческие свершения, которые становились откровениями, доказывает уникальное созвездие его труппы. Мхатовские «стариканы»! Ловишь себя на мысли о какой-то повальной гениальности. Актерские удачи, нет — взлеты тех лет, пожалуй, не имеют аналогии в трехвековой истории нашего театрального искусства. Огромна, бесспорна в этом заслуга Станиславского-педагога, придирчивого, яростного, требовавшего невозможного и... достигавшего его. Тогда из деспота, тирана он превращался в нежнейшего, благодарного обожателя актера... О, как они, его питомцы, в слове-воспоминании благоговейно рассказали о своем великом Учителе!

Станиславский собрал такой репертуар, который «рассматривал жизнь не только через ее вздымающиеся вершины и падающие бездны, но и через окружающую нас обыденщину». Ту самую «обыденщину», из которой извлекались самые животрепещущие проблемы, которая задавала и требовала ответа на «вечные вопросы».

Не оттого ли здесь нашла свой дом чистая, тонкая, как осенняя паутинка, и ранимая муза Чехова? Не оттого ли именно мхатовский занавес навек остановил для нас полет его бессмертной «Чайки»?

Как давно это было... В августе 1898 года Станиславский работал над постановкой чеховской пьесы... «...Нельзя было не дивиться этой пламенной, гениальной фантазией», — вспоминал Немирович-Данченко.

Рискованная, опасная затея ставить в Москве пьесу, потерпевшую фиаско в Петербурге. Напряжение тех дней, волнение Станиславского можно понять — больной, измученный Чехов еще не оправился от душевной травмы. Но день

премьеры «Чайки» настал. Пусть расскажет о нем сам Константин Сергеевич:

«Как мы играли — не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рез, треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошел... раздвинулся... опять задвинулся, а мы стояли, как обалделые. Потом снова рев... и снова занавес... Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться».

Я читаю строки прекрасной, искренней, давно ставшей классической книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и словно вижу его самого — высокого, красивого, бесконечно талантливого и счастливейшего из смертных — перед бушующим залом Художественного театра.

Завидная судьба! Здесь все в каком-то совершенном чистейшем виде — любовь к своей профессии, зримое воплощение, как не многим это выпадало, своих замыслов, тепло семейного очага...

Но так ли давно все это было? Полчасика назад я читала, как Константин Сергеевич репетировал с юной Степановой «Горе от ума»... И вот сейчас задаю ей вопрос — наивный, смешной, назовите, как хотите:

— Ангелина Осиповна, ну какой он все-таки был, Станиславский?

Голос из телефонной трубки со знаменитой степановской хрипотцой и тем дивным московским говором, которого нигде уже не услышишь:

— Какой он был? О нем все уже рассказали. Все, что можно передать словами. Мне было тогда девятнадцать лет. И я, естественно, смотрела на него, как на бога. Разный был: Строгий. Душа уходила в пятки. Но если что-то получалось... Боже, как он радовался. Вот что. Напишите: он создал потрясающую внутреннюю атмосферу в театре...

Ангелина Осиповна произносит слово «по-тря-са-ю-щую» по слогам. Так я и записываю.

К нравственным, духовным качествам актера Станиславский предъявлял такие же высокие требования, как и к его профессиональным качествам. Сам скромный, деликатный, без тени «театральщины», Станиславский был той исключительной личностью, возле которой не приживались пошлость, корысть, непорядочность, лень физическая и духовная. Все, увя, живучее сопровождение актерской жизни — склоки, премьерство — он не навидел яростно, был беспощаден к малейшим их проявлениям. Дисциплина, единая для всех — от статистов до «звезд»,

узаконенная во МХАТе Станиславского, сегодня показалась бы непереносимо тяжелой. Но им, его сподвижникам и ученикам, вся эта отлаженная, продуманная система бытия в стенах театра, кодекс актерского достоинства казались естественными, как дыхание. Он сберегал актерскую душу, ее высокий настрой для главного — творчества.

Станиславский был первым, кто дерзнул вторгнуться в «святыню» искусства — таинство актерского творчества. Им создана законченная и стройная система воспитания актера и работы над ролью. То был многолетний, скрупулезный анализ ученого, мыслителя, художника над собственной творческой жизнью, ее победами и поражениями.

Он пришел к своей «системе», изведав, по собственному признанию, «все пути и средства творческой работы... изучив формы постановок различных художественных направлений и принципов — реализма, натурализма, футуризма... с вычурными упрощениями, с сукнами, с ширмами, тюлями, всевозможными трюками освещения».

Иронизируя над собственными заблуждениями, этот абсолютный профессионал сцены, для которого, казалось бы, нет никаких тайн, мудрец, сохранивший молодую, пылкую душу, может искренне и просто сказать: «Не знаю», если что-то для него еще не безусловно, требует практической проверки. Но есть то, во что он верит свято и непреклонно. В то, что путь к прекрасному лежит через правду. В то, что «единственный царь и владыка сцены — талантливый артист».

«Какое счастье для нас, актеров, что не Сальери, а Моцарт решил поверить алгеброй гармонию». Эти слова одного из питомцев Станиславского подтверждают безграничную веру в нравственное совершенство великого режиссера, в необходимость его «системы» для вечно обновляющегося цеха российских актеров.

К ней, к молодежи, прямо и непосредственно со страниц своих книг обращается Станиславский, предлагая воспользоваться «драгоценной рудой», добытой им...

Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...

Хорошо ли учимся? И отчего порой воспринимаем мы Станиславского, великого мятежника, канонизированного, обронзовевшего патриарха? Не сами ли превращаем живую, полнокровную мысль его в догму, сухую и скучную?

Словно он сам предвидел это: «Умолляю не фетишизировать систему и не называть презрением тех, кто и без нее хорошо играет роль или ставит спектакль. Моя мечта, чтобы система была вечно живым родником... Я ищу. И только. К этому призываю всех».

Сколько книг написано о Станиславском? Десятки? Сотни? Спасибо им. За то, что сумели сохранить, донести до нас все то огромное и значительное, что составляло эту необыкновенную жизнь и самые малые ее штрихи. Вот лишь один, поразивший меня, как-то совершенно несоотнесимый с реалиями нашей сегодняшней жизни... Но это было, не легенда.

Был о том, как холодным ноябрем 1917 года к Станиславскому пришел незнакомый человек и попросил его как «наибольшего» актера принять участие в концерте, устроенном после собрания московских извозчиков. Был уже вечер, Станиславский страшно волновался, что как-то не собрался, не знает, с чем выступить...

В душевной прокурной чайной на Таганке он читал тогда монолог Фамусова. Ему громко аплодировали, но чуткое ухо актера уловило — не возникло того контакта, того понимания, которого ждал, о котором думал дорогой сюда. Корил себя, приехал домой расстроенный и все приговаривал: работать, больше работать надо, чтобы до каждой души дошло...

Он знал, верил: этой огромной, разоренной, ценой неслыханных жертв развавшейся к своему светлому завтра стране и ее народу нужен его театр.

Великий гражданин Станиславский требует от русской сцены «заглянуть в революционную душу страны», вывести на нее нового героя — романтика, мечтателя, создателя этой трудной и блистательной жизни.

Я старательно искала слова, соответствующие юбилейной дате — 125-летию со дня рождения великого русского человека, гражданина и художника.

Но, быть может, лучше присоединиться к простой и исчерпывающе ясной мысли нашего современника, замечательного режиссера Г. А. Товстоногова:

«Нынче нужны хорошие ноги тем, кто побежит за стремительно летящим Станиславским и не потеряет его из виду. Придя к будущему театру, мы первым встретим молодого, мудрого и лукаво улыбающегося Станиславского».

Он родился и жил для будущего театра, и памятник ему нужно ставить там.

А сегодня он с нами, только он впереди...

Людмила БЫЧЕНКОВА